

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

N. Y. Public
Library
Div. S
Grand Central
Station
P.O. Box 2331
New York 17, N.Y.

СОВЕТСКИЙ ТРАЛЬЩИК — БЛИЗ АМЕРИКАНСКОЙ БАЗЫ

Рейкьявик, 21 мая. — Исландское патрульное судно обнаружило советский тральщик, стоявший на якоре недалеко от американской радарной станции. С советского парохода дан был сигнал, что на нем испортились машины. Лейтенант исландского судна поспешил на тральщик, но капитан его заявил, что не нуждается в помощи и сам исправит повреждение.

РАССЛЕДОВАНИЕ О 950 ПАЛАЧАХ АУШВИЦА

Бонн, 21 мая. — Прокуратура ведет расследование о 950 палачах аушвицкого концлагеря, виновных в умерщвлении тысяч заключенных. Почти все они — бывшие чины особой охраны.

ВЕРШИНИН НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

Москва, 21 мая. — Начальник авиационных сил СССР маршал Вершинин по случаю 60-летия награжден орденом Ленина.

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 243 West 56th St., New York 19, N. Y. Tel. CO. 5 - 5500

ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО

Язык Гоголя

Русский народ насмешлив, любит подтрунивать, издаваться, придумывать шуточные словечки, прозвища, что кажутся ему забавными, в особенности, когда эти слова — непонятны иностранцам. Все это дает повод к словотворчеству, большому частью достаточно грубому, хотя и метко бьющему в цель. — лучший пример наши бывшие балаганцы «еды».

Богатство уменьшительных (и увеличительных) флексий облегчает всевозможные неологизмы. Эти «уменьшения» иногда придают слову оттенок ласкательный (душа, душка, душенька), но обретают нередко оттенок презрительности к понятиям, достоянием другого к ним отношении, и тогда получается «Александринка», «Маринка», вместо Александринский и Марининский театры, «массовка» «путевка» («Путевка в жизнь»). За последнее время все больше такого «запашибравства» со словом.

Не исключение — даже лучшие русские писатели, и наш разговорный язык давно окрасился этой уничижительной словесной изобретательностью. — балагурство, издевка над ближним, передразнивание простонародного проношения необычных слов, наполнен обиходный словарь нескверными глаголами и существительными, речениями, прибаутками и калечками, которыми прославились наши сатирики, например — Гоголь, а подражая Гоголю, и заурядный писатель и падака до всего забавного толпа продолжают это словотворчество. Сколько от Гоголя заимствованного вошло прочно в русскую речь.

Гоголь — огромное явление. Иллюзии повторять, что он генерал как повествователь — насмешник и даже «философ жизни». Гоголь — явление огромное, от него целая ветвь русской литературы, наш реализм, точнее — наш характерно-фантастический реализм. У Гоголя это соединение реализма с фантастикой само по себе и очень народно: донельзя народен его насмешливый здравый смысл, меткий до беспощадности и цинизма, и — народная одержимость призраком нечистой силы, неподражаемая гоголевская бесовщина, от его суеверной религиозности и религиозных недоумений.

Отсюда — смех Гоголя и, в связи с его необыкновенной изобретательной наблюдательностью, описательные подробности Гоголя и, одобренные малорусскими словечками, подчеркнутые новшества его прозы.

Отсюда и чорт Гоголя... Смех его почти всегда самозащита от нечистой силы, и эта самозащита шуточной, грубоватым колдовством, переходит то и дело в мистический страх, в трагический «пропад» (как говорил Ремизов).

В рассказах писанины Рудого Панька («Вечера на хуторе близ Диканьки»), так развлекших Пушкина, чорт — на каждом шагу, всюду мерещится малорусский бес и хвостатые бесенята; все рассказы построены на приключениях с чортом. Стилистические усиления почти не обходятся без чертыхания: «Чтобы нас чорт побрал», «волосы на манер чорта меня поберит», «кой чорт», «чортов сын», «чортов кулак», «сатана в образе свиньи», «чорт с свиной личиной», и т. д. «Вечер накануне Ивана Купала» целиком посвящен украинскому бесу, недолгобывающему великороссов: «Лгать — москаля везть»; а Фома Григорьевич, дяк Диканьской церкви, бранится по малорусски: «Бреште суцый москаль», «що то вже, я у кого чорт ма клепки в голови!»

Тут изобретательность Гоголя поистине — чертовщина! «Притягатель из болота с рогами», «дьявольская рожа», «проклятая бесовщина», «чертовский пар», «вражий сын», «вывороченный дявол», «чорт-ма», «дьявольская сволочь», «черти свиньи», «собачье, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла», «чорт — баба» и «чортова баба» и, наконец, в «Винь» все помнит сон Хомя Брута... Кажется невинной выдумкой ярым — астральные демоны Иеронима Босха или Брегеда «адского», или

«Гоголя» Грюнвальда*).

С годами чорт Гоголя изменил свою народно-волшебную видимость, но остается он тем же чортом и в «Миргороде», и в «Арабесках», и в «Шинели», и в «Портрете», и, наконец, в «Мертвых душах».

Везде, в сущности, одна тема: смешно и страшна личина человека, утратившего подобие Божье. Не только чорта помнит Гоголь, но зашился издевался над ним, то дутая нас колдовскими чарами («Пропавшая грамота»), «Винь», «Заколдованное место»), но и сами люди Гоголя, люди в реальной жизни, уподобляются чертовским личинам; у них нет духа, они — смешные автоматы, прожорливые, глупые (подчас до идиотизма), пустые, зверообразные мертвые души.

Отсюда и язык Гоголя, когда он говорит о людях, отсюда забористость его определений, повывавших безудовольно на наш разговорный язык. Напомним некоторые гоголевские словечки, ни на какой другой язык переводимые. От Гоголя — такие ставшие популярными прозвища, как «Неуважайкорыто», «Кушачинное рыло», и выражения: «качать во весь дух» (быстро ездить), «валепить пошеду», «бездна чайных чашек» (у Коробочки), «хранить во всю нововую заертку» или еще — «заехать к Сонникову и Хриповицкому», «пошла писать губерния», «сподыхать мелким бесом», «сесменить ножками», «прямо — пиши пропало», «пули дить» (врать), «интереснака», «мышинный жербычк», «галантерейная половина женского рода», «скандалезу наделаться», «пришпандорить» (взломать), «пользоваться насчет клубнички», «взбутьтепшание» (распекание) и др.

Эти гоголевские словечки характерно окрашивают язык, не затрагивают его правильности. Дело обстоит хуже, когда Гоголь не творчески изображает жизнь, выворачивая ее наизнанку и замечая в ней самое суебно-смешное в человеке и в его быту, а — когда говорит как историк и критик. Тут малорусское его ухо не считает вовсе с логикой русского языка, будто не всегда и понимает он смысл того или другого слова. Так, например, в своей лекции «Движение народов в пятом веке» он говорит о гунах: «Их приземистый рост, весь состоящий из одних мускулов»; «гуны необходимо должны были пронзить сильное потрясение и всеобщую перемену мест; они произвели свои набеги на соседней, которые обыкновенно состояли в хищении жень, детей и в утонке стада»; «западную Европу спасало лесное и иерное положение»; «Константин уцелел благодаря незнанию готов осаждать города»; «с накопленными под его эгидом племенами»; «он уступил — и Галлия потонула франкскими народами»; «когда разрушающие народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачные события».

Гоголь высоко ценит живопись, хоть и понимал в ней немного. О знаменитом «Последнем дне Помпеи» Брюллова он полурозборчиво лепечет: «Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея в себе никакого достоинства, показывающего гений, необыкновенно, однако же, приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не порадовать, хотя внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необычное познание искусства». «Мысль ее (картины Брюллова) принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление стремится совокуплять все явления во общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствительные целою массою».

Во что обратились бы многие страницы «Мертвых душ», если бы гоголевскую прозу не правили ему друзья, если бы Анненков, писатель на редкость образованный, прекрасно владевший русским языком, не перенес почти целиком романа Гоголя и не почистил в его прозе «неровность

*) Вспомнина Гоголя, кажется, В. Стасов удостоверяет, что именно от Гоголя пошла мода в нашем обществе на «чорт волын» и «чорт поберит».

и неправильность» и «бесправильность и неправдоподобие некоторых образов», по определению Пушкина. Правда, огорчку о «неровности и неправильности» Пушкин сделал в своем восторженном отзыве о «Вечерах близ Диканьки»: «Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность!» Но сейчас я не касаюсь вовсе гениально-заборной выразительности Гоголя и силы обжигающей его «чувства природы», — говорю лишь о его языке и о том, что он привил нашей разговорной речи.

Гоголь — подлинный самородок; образован был совсем слабо, да и мало считался с европейской начитанностью писателей своего времени; он насмехался над русской первобытностью и, в то же время, отвращался и от западной цивилизации. «Его и вообще немецкая литература, — замечает Анненков, восторженно почитавший Гоголя, — почти не существовали для него; он «ничего не читал из французской литературы», «из всех имен иностранцев поэтов и романистов было знакомо ему не по догадке и не по слухам одно имя — Валтер Скотта», но котлялся он бесконечно наблюдательностью и памятливым окружением обстановку и слова, для него ничто не пропадало даром.

Анненков сказал еще: «Известно, что житейской мудрости в нем было почти столько же, сколько и таланта»; «врожденная скрытность, ловко рассчитанная хитрость и замечательное по его возрасту употребление чужой воли в свою пользу». Пушкин сказал еще: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что кричать нельзя».

Гоголь ненавидел идеальничанье старших русских писателей (Кукольник, Полевого), с их трескучим драматизмом и сентиментальностью, но и сам бывал и трескуч, и сентиментален. Во всяком случае — гиперболы.

И это же создает особую прелесть его описаниям и восторженному созерцанию природы... И как заражает этот красноречивый восторг! Но, конечно, не «Чудеса Днепр при тихой погоде», отрывок, который наши гимназисты учили наизусть как образцовую прозу. Это возвышение родимого Днепра — не более, как бурная «эпокеция» (к счастью не привившаяся в русской литературе).

Но вот — почти то же, а звучит волнующе прекрасно: «Весь ландшафт спит. А вверх все дышит; все дивно, все торжественно. А на душе и необъятно и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникают в ее глубине. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдруг все ожило: и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месьца заслушалась его посреди небес... Как зачарованное, дремлет на возвышении село, еще более, еще лучше блестит при месяце толпы хат; еще ослепительнее вырезаются из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. (Из «Майской ночи»). Иди: «Зелеными облаками и неправильными, трепетнолиственными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разрозненных на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, длинный верхушки, отломленной бурей или грозой, подымался из этой зеленой гуши и крутился на воздухе, как правильная мраморная, сверкающая колонна; косо, остроконечный излом его, которым он оканчивался вверх вместо купола, темел на снежной бездне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины или снова орешника и, пробежав потом по верхушке всего частоклада, забегал, наконец, вверх и обивал до половины сломанную березу».

Это описание сада Плюшкина неподражаемо! Поразителен вообще лирический ритм в гоголевской прозе, когда Гоголь любит, как восторг перед Божьим творением. Однако, лишь обращается он к своему близкому, по страстной своей привычке видеть дрянное в каждом человеке и одну «странную, потрясающую тину мелочей, опутавшую жизнь» (как определяет сам Гоголь), — он «бывает подобие Божье в человеке и обращает человеческий об-

раз в «мертвую душу». Это усиливает сатиру, но язык огрубляет. В нашем разговорном словаре почти все «гоголевское» придает ему нечто такое, чего никак не включаясь в поэзию, чего не скажешь в рифмованной строке, как бы эта строка ни искушалась «прозаизмом». В нашу каждодневную речь вошла манера говорить, которую можно назвать «низким слогом». Гоголь этому помог... Надо ли доказывать, что у выработавшего совершенно литературного языка не должно быть низкого, ни высокого слога? Смысла слова, словесного звука и смысла, изувечило немало наших юмористов и «революционно-новых» стихотворцев, хотя бы Андрея Белого и Маяковского.

*) Впервые напечатано в «Современнике», 1836 г.

ранам ближнего. Но, не будучи любезником, Гоголь в то же время всю жизнь каялся, умствовал, учительствовал и сокрушался; мечтая о подвижничестве боролся с искушениями: «Мертвые Души» были той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока вынесли его бездыханным из нее.

Но было ли в нем смирение? Нет, так же как не было и в Андрее Белом, несмотря на религиозный пыл обоих. Еще в 1841 году Гоголь писал А. С. Данилевскому: «Слушай — теперь ты должен слушаться моего слова, ибо я вдвойне властно над тобою мое слово, и горе кому бы то было не слушающему моего слова!»

Гоголь старался убедить и друзей и всю Россию в необыкновенном своем значении для родины и в пророческой беспорности своих христианских чувств. Вся предсмертная книга его «Избранных места переписки с друзьями» говорит о том же: «Разве вся жизнь моя не стоит благодарности? Разве любовь, объявляющая мою душу и вырастающая все более и более с каждым днем, не стоит благодарности?»

Гоголь — не только сатирик и художник, боготворящий природу, не только пламенно мечтающий россиянин о великой судьбе своего народа, он в такой же мере — замеченная религиозными недоумениями совесть, насмешник вечно кающийся, в борьбе с чортом и с призраком несказанной красоты ведьмы, и это рассказывание Гоголя, обездушившего русского человека своего времени, свойственное ему с юных лет, приобрело с годами и с ростом его славы характер навязчивой идеи. Он отвергся от своего смирения, перестал бороться с чортом

и привилось, и в наши дни только недоумеваясь, как могла поверить передовая Россия словесной эквилибристике Белого.

Одна из следующих статей моих о русском языке будет посвящена нашим «модернистам» начала века, тогда я скажу подробнее о прозе и стихах Белого. Сейчас отмечу только, чтобы не казаться голословным, несколько его языковых изумств: «шарабачка», «былом тебя побычить», «смесь свинопisci с иконописью» (описание лица с длинной бородой), «над златокарей згой» (звездой) и т. д. В. Гюфман говорит о «ненсчерпаемом каскаде неологизмов у Андрея Белого и приводит примеры из поэмы «Первое свидание»: «протопырь», «опурпырь», «перевопросим», «биноклит», «безвесья», «внеголоный», «голубоглазит», «заочинит», «содимит», «голубила», «ометеленный», «пенсейное» (1), «милотель», «громарий», «седынь» и т. д.

Неровному и неправильному языку Гоголя многое прощалось в его время отчасти и потому, что уж очень талантливо читал Гоголь свои произведения! Он обладал необыкновенным талантом чтеца и актера. «Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, — замечает С. Т. Аксаков о чтении Гоголем «Женитьбы», — что многие понимающие это дело люди до сих пор говорят, что, несмотря на хорошую игру актеров, особенно Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна и далеко не так смешна, как в чтении самого автора». То же заявляет Погдин: «Это было верх удивительного совершенства. Гоголь читал так, скажу здесь кстати, как едва ли кто может читать».

Гоголь и Андрей Белый... У Гоголя почти все его неологизмы — от просторечий и грубоватой шутовщины, и сердцем подсказаны; у Белого — мозговая выдумка, с углублением в символическую мистику, вычитанная из философских сочинений на всех языках. И все же неотесанная простонародность Гоголя «подаст руку» переуточенному интеллектуализму Белого. Оба ощущают себя нашими некую русскую правду, оба к концу жизни затопились тайной смерти и горестным покаиванием; оба одновременно одержимы маньер величия и самоуничижением; оба — бьющие себя в грудь, себя несязующие фантазеры. И любви у обоих мало: «Всякая картина немощи, смерти, гнала его прочь от себя», — говорит тот же друг его Анненков, — при сердце способном на глубокое сочувствие, он лишь был дар и умения прикасаться собственными руками к

издательскими вывертами и с соблазнами плоти в образе мертвой «панночки», он захотел испугать вину созданием положительных типов, взятых из русской действительности.

Как мы знаем, с этой задачей Гоголь не справился, он не сумел говорить на новом языке о России и ее созидательных героях. Он не нашел языка для этой положительной правды и, чувствуя приближение смерти, ему оставалось одно — уничтожить все, что он написал за последние годы, чтобы доказать свое право на перерождение. Оскорбленный непониманием современников, уходя все более по ту сторону жизни, он обрек себя на умирание и физическое, и духовное.

Язык Гоголя, слово Гоголя, не изменил ему до конца. Не надо забывать, что один из самых ярких фигур его относится ко второму сожженному им тому «Мертвых Душ»: Петр Петрович Петух, генерал Бетришев, с его смешком, каким вряд ли когда смешался человек. Но этот генеральский раскатытый хохот его и не давал, он возжелал не смешаться над человеком, а слез о человеке и веры в человека. Он захотел опровергать свой непопальный смех: «Высокий восторженный смех», — говорит он в одной из последних глав «Мертвых Душ», — достоин стать рядом с высоким лирическим движением, делающим пропасть между ним и кривлянием балаганного скомороха! Задача писателя — «озирать всю громадную несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые ему слезы».

Гоголь затосковал об этих «слезах» в конце жизни, но они «обратились в бесплодное отчаяние».

Сергей Маковский